

В середине октября 1918-го наша 2-я добровольческая дивизия отступала от Самары к Бузулуку. Было безветренно, грело солнце; идём просёлком, кругом убранные поля, луга со стогами сена, тихо; кажется, и войны нет.

Около полудня наш батальон вошёл в деревню, где мы должны закрепиться. Разбегаемся по дворам с мыслью перекусить; не успел я заскочить в избу, как с улицы закричали:

— Лёнька, к начальнику дивизии!

Розыгрыш. Зачем я, ничем не приметный рядовой, могу понадобиться генералу? Тоже мне, остряки! Однако на улице в самом деле ждал вестовой верхом, держал за повод лошадь для меня. Оторопев, я спросил, для чего вызван?

— Скажут... — не глядя на меня, неохотно бормотнул пожилой вестовой; у него было унылое лицо крестьянина, ожидающего зиму после неурожайного лета.

Штаб дивизии расположился в селе Каменная Сарма, до него вёрст шесть. По дороге я стал думать, что разгадка вызова нашлась. Мой старший брат Павел командует конной дивизионной разведкой. Он похлопотал — и меня берут в разведку? От этой мысли было так радостно, что я суеверно боялся: неудержимая радость всё испортит. И заставлял себя думать о чём-нибудь другом. Например, вот-вот хлынут дожди, а отступление продолжится, и тогда тащиться по просёлкам станет ещё скучнее...

Вестовой направил коня к чисто выбеленному зданию сельской школы. В классной комнате на столе расстелена карта-двухвёрстка. Над ней склонились офицеры штаба. С ними — начальник дивизии генерал-майор Цюматт: русский немец, как и я. Погоны змейками, мундир свободно сидит на сухоньком торсе, белоснежный воротничок перехватывает морщинистую шею. Мне, пятнадцатилетнему, генерал кажется глубоким старцем: даже брови седые. Белые ухоженные усы нацелены вниз, меж стрелками усов розовеет выбритый подбородок.

Вытягиваюсь — руку к козырьку, называю себя. Генерал просит извинения у офицеров и, обращаясь ко мне, кивает на дверь сбоку:

— Пройдёмте в курительную.

Следом за ним выхожу в узкий, ведущий на задний двор коридорчик. Здесь стоит лавка.

Цюматт достал портсигар, предложил мне закурить. Благодарю, поясняя, что не курю; на самом деле, когда попадается табак, я покуриваю. Жду, когда же он скажет... Скажет — и моё мучительное волнение взорвётся восторгом.

Он затянулся так жадно, что я услышал потрескивание в папиресе. Стоит в облаке дыма; у него встревоженные глаза нервного молодого человека.

— Ваш брат Павел пал за Россию! Пал смертью храбрых!

Зажав папиросу во рту, Цюматт взял меня за руки. Стоим минуту-вторую, третью... он не выпускает мои руки.

— Сядемте, — пригласил сесть с ним на лавку.

Он объяснил, как Павел и его конные разведчики помогали дивизии. Почему мы отступаем? Потому что наш сосед справа — дивизия чехословаков — всё время отходит, даже не предупреждая нас. Чехословаки не собираются всерьёз воевать с красными, умирать в чужой стране за чужие интересы. Наш фланг то и дело оказывается открытым, и только разведка, нащупывая противника, спасает нас от охвата справа.

Совершая глубокие рейды по территории, занятой противником, разведка определяет плотность его сил. Когда их концентрация на чехословацком участке окажется слабой, генерал перебросит туда полк прикрития.

Остальными силами — при поддержке соседа слева — нанесёт красным неожиданный удар.

— И мы разобьём их без никакой помощи чехословаков! — Цюматт поспешно поднёс папиросу ко рту, костлявая рука дрожит. — Представляете, как я каждый раз ждал возвращения вашего брата?

Попрощался генерал немного картинно:

— Он принадлежал к числу тех офицеров, из которых вырастают крупные военные деятели! Дорогой мой, служите, как ваш брат!

Вестовой проводил меня к разведчикам. Я услышал, как погиб Павка.

Постоянной линии фронта не было, и разведка — тридцать конников — без труда проехала в расположение противника, на ночь остановилась в незанятом им селе Голубовка. На крыше сарая залёт дозорный. Лошадей не расседлали. Один Павел расседлал свою молодую кобылу. Среди ночи дозорный поднял спавших: в Голубовку въезжает какой-то отряд. Стали вскакивать на коней, и тут красные открыли огонь. Отстреливаясь, разведчики вырвались из села. Четверо оказались ранены, и не было Павла.

— Остановились в селе, в десяти верстах от Голубовки, — рассказывал мне узкоглазый молодой человек с реденькими усиками и бородкой. — Днём приехал по своим делам крестьянин из Голубовки. От него узнали...

Павел, седлая кобылу, задержался. Когда поскакал со двора, красные были уже рядом, простреливали улицу продольным огнём. Лошадь под ним убили. Он — в ближние ворота; взобрался на гумно, отстреливался, нескольких нападавших ранил. В него, вероятно, тоже попали. Патроны кончились: спрыгнул с гумна, саблю держит, шатается, а красные — вот они, перед ним. Кричат: «Бросай шашку!» Не бросил, замахивается — его и застрелили.

— Крестьянин уверен, — закончил разведчик, — что кто-то из своих, из голубовских, привёл красных.

Через несколько дней мы нанесли противнику удар, который планировал генерал Цюматт. Наш полк был заблаговременно переброшен на участок, только что оставленный чехословаками: они, по своему обыкновению, продолжали отходить без боя. Красные, не ожидавшие серьёзного сопротивления, атаковали нас без подготовки, но под огнём залегли. Мы бросились в контратаку. Захватили около сорока пленных, походный лазарет, две двуколки с патронами.

Сутки спустя наш батальон готовился наступать с пологого холма на открывшееся в седловине село. Вечерело. Наполнив патронами боковые подсумки, я набивал брезентовый патронташ, когда раздался конский топот.

Возле меня соскочил с лошади узкоглазый разведчик.

— Вот эта самая Голубовка! — он показал на село. — Через час вы в ней будете. Смотрите: церковь, две избы вправо, за ними, подалее — три двора. Там мы ночевали... Узнаете, где Павел... гхм... — разведчик смешался, порывисто бросил: — Извините!

Я его понял: он не уверен, погребено ли тело Павла.

Он сел подле меня на траву. Помолчав, рассказал: утром они захватили красного — из тех, кто напал на разведчиков в Голубовке. Вот что выяснилось.

Красные в ту ночь стояли в деревне — от Голубовки верстах в четырёх. Их было не больше полуста, и, когда прибежал голубовский пацан: у нас, мол, разведка белых ночует, — командир не решился нападать. Но тут подъехала на телегах рота рабочего полка. И двинулись...

— Мальчишку, конечно, отец послал, — разведчик глянул мне в глаза. — Глупостей не наделайте! А вообще... — с минуту думал. Вдруг у него вырвалось: — Я бы расстрелял!

Сказав, что ему пора, попрощался, вскочил в седло и уехал.

Мы не оказались в Голубовке ни через час, ни через два. Красные, засев в окопах перед околицей, встречали нас плотным огнём винтовок, и командир полка приказал прекратить лобовые атаки.

Темнело. Мы отошли за холм и встали лагерем. Съев по котелку каши, разожгли костры, уселись вокруг них группками.

Наш батальон в основном состоит из вчерашних реалистов, из гимназистов вроде меня. Прошло немногим больше трёх месяцев, как мы в Сызрани вступили в Народную Армию Комуча<sup>1</sup>. Тех, кто побывал на германской войне, среди нас почти нет. Александр Чуносов — один из таких редких людей. Был в войсках, что воевали в Персии с высадившимися там германцами. Ему года двадцать три; рослый, плотный. Ходит, держа винтовку под мышкой. Любит, чтобы его звали Саньком. Он — старший сын богатого крестьянина. Отец послал его в Народную Армию с напутствием: «Жалко, но надо! А то х...ета безлошадная нас уделает».

Санёк нашёл неподалёку болотце и, процедив воду сквозь тряпку, сейчас кипятит её в котелке.

— Лёнька, чай, мыслями в Голубовке, — произносит в раздумье, ни к кому не обращаясь, — казнит братниных убивцев...

Молчу. Думаю о Павке. Думаю — почему я не мучаюсь горем? Когда я слышал о его смерти, я словно бы в это не поверил. Мне тягостно, но боли, ужаса нет. Из-за этого чувствую себя виноватым. Возбуждаю в

---

<sup>1</sup> Комуч — Комитет членов Учредительного собрания (Прим. автора).

себе мысли о том, каким хорошим был Павел.

У меня есть ещё два старших брата, сестра. Чем Павел был лучше? Тем, что старше? Тем, что в 1914 ушёл добровольцем на Кавказский фронт, вернулся подпоручиком? В Народной Армии, где крайне не хватало офицеров, его сразу же поставили командовать дивизионной разведкой. И вот в двадцать два года, провоевав три месяца, он погиб.

Обстоятельный Санёк говорит мне с нотками превосходства:

— Генерал тебе потрафил: братана хвалил. Чего его восхвалять? Кругом враг, а он лошадь расседлал — командир! А все так сделай? И накрылась бы разведка. По дури попался орёлик. Любил вы...бнуться! — он с удовольствием выделит матерное слово.

Я понимаю, что он прав. Для меня это — пытка. С дрожью бросаю:

— Ну, чего привязался?

Мой бывший одноклассник Вячка Билетов замечает:

— Павел погиб от предателя.

— А он те на верность клялся никак, мужик, что пацана послал? — с ехидцей поддел Санёк. — Может, он и был за красных? По его понятию — хорошо сделал.

— Значит, Лёнька и отплачивать не должен? — вознегодовал Вячка.

Санёк поставил котелок перед собой на землю, стал размачивать в кипятке сухой хлеб.

— Если не отплачивать, то и воевать не хрен. К тому же, братан — своя кровь. Может, билтя по башке, жизни не давал: до расчёта это не касемо. Не рассчитался — не человек.

— Ишь, как! — вмешался вчерашний телеграфист Чернобровкин. — А военно-полевой суд на что?

— Прямо у начальства забота теперь — суды собирать!

— А иначе, — не сдался Чернобровкин, — сам под суд попадёшь. Как за грабёж.

— Грабёж — дело другое, хотя и тут: как посмотреть... — Санёк дует на размоченный в кипятке ломоть хлеба. — А у Лёньки — дело без корысти.

На рассвете мы обошли Голубовку с севера, наткнулись на полевой караул красных. Поднялась стрельба; опасаясь окружения, противник оставил село, и мы вступили в него.

Я и мои друзья искали указанное разведчиком место, где погиб Павел, приблизились к церкви. У одного из дворов стояла нестарая баба в валенках, хотя снег ещё не выпадал. Бросилась к нам:

— Солдатики, у нас вашего офицера убили, у гумна! А красным сообщили Шерапенковы-соседи. Они погубили, они! — в притворстве завывая, показывала нам рукой на соседский двор.

— Обожди! — властно оборонил Санёк. — Где офицер лежит?

— Схоронен! Мой-то сам и старшенький на кладбище снесли, после батюшка вышел — похоронили...

Она привела нас к могиле на тоскливом, почти без деревьев, кладбище. Я смотрел на свежий холмик земли и вдруг почувствовал: вот тут, неглубоко, лежит Павка. Серо-синий, ужасный, как те трупы, которых я успел наглядеться. Павка — такой ловкий, быстрый в движениях, такой самоуверенный, бесстрашный.

— Крест втыкнуть поспешили, — сказал Санёк.

— Поставим, миненький! — баба стала приглаживать землю на могиле ладонью. — Чай, мы уважаем-ам...

Острейшая жалость к Павке полоснула меня. Из глаз хлынуло. Я услышал исполненный значимости, как у судьбы, голос Санька:

— Ну всё! Снялось с него. А то он был оглоушен. Теперь будет мужик — не пацан.

Баба упала на колени, тычется лицом в землю холмика. Как мне гнусно!

Шерапенковы нас ждали. В избе чисто, будто в праздник. Топится побелённая на зиму печь. В правом углу — выскобленный ножом свежее желтеющий стол. Над ним — тусклые образа. Свисая с потолка на цепочке, теплится лампадка зелёного стекла. Слева, на лавке у стены, сидят крестьянин, баба и четверо детей. Среди них старшая —

девочка, ей лет двенадцать. Цветастая занавеска скрывает заднюю половину избы.

— Извиняйте, что без спроса! — Санёк снял заячью шапку и, придерживая винтовку левой рукой под мышкой, перекрестился на иконы. — Вот он, — указал на меня, — родной брат офицера убитого.

— Так... — крестьянин встал с лавки; волосы густой бороды мелко дрожат.

Дети таращатся на нас в диком ужасе. Младший, лет четырёх, разинул рот, смотрит с невыразимым страхом и в то же время чешет затылок.

Равнодушно, точно по обязанности, Санёк спросил:

— А куда дели сынка, какой призвал красных?

— Лешему он сын — аспид, собака! — вскричала крестьянка. — А на нас нету греха! Поди, угляди за ним, уродом...

Из-за занавески вышел подросток в потрёпанном пиджаке.

— Кому меня надо? — спросил низким, с хрипотцой, голосом мужика.

Я увидел, что «подростку» никак не меньше двадцати пяти.

— Мой меньшей брат, — сказал крестьянин; потоптался, добавил: — Бобыль.

Тот стоял, небрежно расставив ноги в шерстяных носках, одну руку уперев в бок, другой держась за отворот пиджака. Бритое лицо выражало спокойную насмешку.

— Я красных притащил! Так захотел!

В словах столько невообразимой гордости, что Вячка Билетов пробормотал:

— Он в белой горячке...

Санёк, взглядываясь в человека, рассмеялся смехом, от которого любому станет не по себе:

— Смотри-ка, грозная птица галка! Ох, и любишь себя! Спорим: всё одно жизни запросишь?

— Дур-р-рак! — Не передать, с какой надменностью, с каким презрением это было сказано.

Почти неуловимый взмах: Санёк двинул его в ухо. Ноги у человека подсклились — ударился задом об пол, упал набок. Дети закричали; старшая девочка визжала так, что Чернобровкин с гримасой боли зажал ладонями уши.

Санёк тронул лежащего носом сапога:

— Поднять, што ль, под белы руки?

Тот встал, одёрнул пиджак, шагнул к двери с выражением поразительного высокомерия — мы невольно расступились. В сенях он с привычной основательностью обул опорки. По двору шёл неспешно, деловито: как хозяин, знающий, куда ему надо. Он словно вёл нас. Завернул за угол сарая, встал спиной к его торцу. Это место не видно ни с улицы, ни из окон избы.

— Ты не думай, что я от страха, — усмешливо глядит мне в глаза, — я не из-за этого говорю...

Сожалею я, что отдал твоего брата. Я думал, он дешёвка, а он — не-е... Нисколь не уронил себя!

Санёк хмыкнул.

— Началось! Сожаленье, поканянь. И в ноги повалится. Ох, до чего ж я это не терплю!

— Иди ты на ... — хладнокровно выругался маленький человек. — Не с тобой говорят. — Он не отводил от меня странного, какого-то оценивающего взгляда: — Давай, што ль, пуляй!

Я — хотя стараюсь не показывать этого — ошеломлён. Может, он не понимает, что у нас не игра? Шут, идиотик, он думает: всё — понарошке? Хотя какое мне до того дело? Если б не этот замухрышка, Павел был бы сейчас жив-здоров.

Я понимаю, что должен вскинуть винтовку, выстрелить. Но я ещё ни в кого не стрелял в упор.

— Сознаёшься, что сам, по своей воле побежал... выдал... привёл? — держу винтовку у живота, страстно желая, чтобы меня захлестнула злоба.

— Верно балакаешь, — он заносчиво улыбается. — Не угодил мне твой брат! Форсистый, саблей гремит, ходит-пританцовывает, ляжками играет. Ну, думаю, красавчик, как поставят тебя перед дулом, будешь молить...

Меня взяло. Я дослал патрон, упёр приклад в плечо. Сейчас ты отведёшь взгляд. Я увижу ужас. Мгновение, второе... Он негромко смеётся: кажется, без всякого нервного напряжения. Бешенство не даёт выстрелить. Вонзить

В него штык — колоть, колоть, чтобы пищал, взвизгивал, выл! Я отчётливо понимаю: если сейчас застрелю его, он, безоружный и смеющийся мне в лицо, останется в выигрыше. Мои друзья будут поговаривать об этом.

— Делай, Лёня! — Санёк легонько плёпнул меня по спине.

Опускаю винтовку, смятение рвётся из меня неудержимым сумасшедшим смехом:

— Не-ет, я ему, хе-хе-хе, не то... я ему получше...

Вдруг вспомнился захватывающий роман о покорении французами Алжира. Молодой французский офицер попал в плен к арабам, и они под страхом мучительной смерти заставили его принять ислам, воевать против своих.

— Или он с нами пойдёт... — не могу смотреть на него, отворачиваюсь, — или издырявлю его штыком!

— Он — с нами? — У Вячки Билетова — гримаса, точно он надкусил лимон. Издаёт губами неприличный звук.

— С на-а-ми... — протянул Санёк; ему забавно в высшей степени.

— Мы не можем это решать, — неопределённо сказал Чернобровкин, обратился к виновному: — Вы, конечно, отказываетесь?

Он безразлично сказал:

— Могу пойти. Но, само собой понятно, не со страху, а от сожаленья. Вина на мне.

— Но вы не подлежите службе! — воскликнул Чернобровкин. — Вы... э-э... маленький.

— Я на германской полных три года был!

— В обозе ездовым? — спросил Санёк.

— Правильно мыслишь. Имею два ранения. — Сбросил пиджак на землю, сорвал с себя рубашку, нагнулся. Вся левая сторона спины покрыта застарелыми язвами.

— Шрапнель, — определил Санёк. Раны от шрапнели, бы-вает, не заживают по многу лет.

— Считаю за одно, а это — второе, — человек распрямылся, показал нам на груди ямку от пулевого ранения: пальца на три выше правого соска. — Лёгкое — насквозь.

— А чего... — Санёк остановился на какой-то мысли, — иди, в самом деле, с нами. Интересно будет поглядеть на тя.

— И правда, интересно, — согласился любопытный Вячка. — Звать тебя как?

— Шерапенков, Алексей.

— Ха-ха-ха, Лёнька! — Билетов ликующе, точно он ловко открыл что-то мною скрываемое, обхватил меня за плечи. — Тёзка твой! Вот это да.

Шерапенков пошёл в избу собраться. Через минуту выбежал хозяин, поклонился Саньку, потом — мне.

— Благодарствуем! Вы не сумлевайтесь, он воевать будет, хотя и мозгляк. А убивать его — чего... Ой, занозистый, ирод, а жалко...

Повёл нас в сарай, нырнул в погреб. Мы получили два десятка яиц и шмат сала фунта на полтора.

Шерапенков вышел в шинели, в сапогах. И то, и другое ему велико. Несуразно огромной выглядит на нём баранья папаха. Вячка отвернулся, чтобы скрыть смех. А Санёк с самым серьёзным видом похвалил:

— Гляди, а военное-то как ему к лицу! — незаметно подмигнул мне.

Я увидел угрюмую злобу Шерапенкова. Пришла мысль: вероятно, при первом же удобном случае он постарается убить Чуносова... или меня... «Ох, и следить я буду за тобой! — как бы предупредил я его. — Убью, лишь только что замечу!»

Мы пошли к ротному командиру, уговорившись, чтоб не возникло затруднений, не открывать ему суть дела.

Ротным у нас прапорщик Сохатский, бывший до германской войны банковским служащим. Попив чаю в доме священника, он как раз спускался с крыльца, когда подошли мы.

Чуносков поставил впереди себя Шерапенкова. Тот вместе с папашой — ему по подбородок.

— Мальчуг с этого села, всю германскую прошёл ездовым. Просится к нам в роту.

— Где служил? — спросил Сохатский.

Шерапенков ответил, что в 42-м Самарском пехотном полку.

Оказалось, полк входил в корпус, в котором воевал Сохатский.

— Отчего надумал с красными драться?

— Должен, господин прапорщик! — твёрдо сказал, как отрезал, Алексей.

— У него красные невесту насильничали, — с выражением сострадания объяснил Санёк, — она с горя удавилась. Он и рвётся мстить.

Шерапенков обернулся: я думал, он подпрыгнет и вцепится лгуну в горло. Было слышно, как у разъярённого человека скрипят зубы. Сохатский смотрел с изумлением. Решил, что Алексея раздражает ненависть к красным.

— Что ж, раз есть желание честно воевать — зачислим. Но предупреждаю: чтоб никаких измывательств над пленными!

В тот день основные силы дивизии стремились опрокинуть противника на линии село Хвостово — хутор Боровский. Выйдя из Голубовки, мы получили приказ обеспечить правый фланг наступающих. В то время как полк наступал на северо-запад, на хутор Боровский, наша рота отклонилась на две версты вправо и развернулась фронтом на север.

Было три часа пополудни, погода ясная. Вдали на равнине перед нами видна деревня Кирюшкино. Вдруг из неё поползло скопление людей. Скоро донеслись звуки пения.

— Стеной прут, — с мрачной напряжённостью сказал Мазуркевич, ученик фотографа из Сызрани. — Значит, резервов у них... до чёртовой бабушки!

Красные шли плечом к плечу, сплошным массивом. Если командиры даже не считают нужным растянуть их в цепи, сколько же сил в их распоряжении?..

В рядах противника раздаются выстрелы, стали посвистывать пули...

В нашей цепочке не наберётся и ста штыков, а на нас шагают четыреста? Пятьсот? Тысяча солдат?

Окапываться мы только начали. И хоть бы был пулемёт! Сейчас они рассредоточатся, легко окружают нас на ровном пространстве и задавят. Уже можно разобрать, что они поют: «Вихри враждебные веют над нами...»

Сохатский во весь рост прошёл перед цепью, бодрясь, прокричал:

— Ну, молодцы, дадим залп и в штыки — покажем подлому врагу, как нужно умирать!

Шерапенков встал с земли.

— Чего умирать-то? — крикнул с издёвкой. Если б не обстановка, показалось бы: безобразничает какой-то наглец в форме солдата. — Это ж рабочие из Самары, два дня винтовка в руках, — кричал он с презрением (с презрением не только к рабочим, но и к ротному командиру). — Какой им: по местности двигаться? Они команд не понимают. Видите: на ходу стрелять учатся...

Сохатский вытаращился на него, затем повернулся к неприятелю, прижал бинокль к глазам, вгляделся. По цепи меж тем побежало оживление: вспомнилось, какими беспомощными были мы сами три месяца назад. Правда, в отличие от этих громко поющих людей, мы обожали оружие, умели стрелять: почти каждый дома имел охотничье ружьё или малокалиберную винтовку «монтекристо».

Позади нас, параллельно цепи, тянется полевая дорога с жухлой травой меж колеями. Сохатский приказал роте быстро отойти за дорогу. Там мы залегли. Дорога перед нами шагах в ста пятидесяти. Приказ: установить прицел по линии травы.

По позвоночнику, от затылка к копчику, протёк холодок. А что если Шерапенков лжёт? Может, эти люди идут стеной не от неумения? Они опьянены ненавистью настолько, что им наплевать на смерть. Остановит ли их ружейный огонь одной некомплектной роты? Наш отход растравил их — катятся на нас валом. Различаю крики: «Сдавайсь!» Нет и попытки обойти нас.

Шерапенков лежит слева от меня. Он угрюмо-важен и от этого выглядит ещё смешнее в огромной, напалзающей на брови папахе. Левее его растянулся на земле Санёк, жуёт корочку хлеба.

— Ой, сымут они с ты шапку, Алексей...

— Смолкни! — Алексей кривыми зубами грызёт соломинку.

По цепи передают:

— Частым... начинай!

Вал красных накатился на дорогу. Справа от меня шарахнула винтовка Вячки Билетова. Через секунду нажимаю на спусковой крючок, выстрел почти сливается с выстрелом Шерапенкова. Слева и справа — резкий сухой треск, словно досками, плашмя, с невероятной силой бьют по доскам.

Вместо сплошного вала атакующих оказываются разрозненные кучки и отдельные фигуры. Наверно, в горячке порыва они не замечают урона — бегут на нас, как бежали. За ними возникают новые, новые группы. Тут и там несколько красных — впереди остальных: видимо, командиры. Слышны крики: «Товарищи, бей гадов! Их мало!»

Ах, мало? Посылаю пулю за пулей, то и дело замечаю падающих. Приближается человек в пальто, за ним — довольно плотная кучка красных. Он оборачивается к ним, подбадривает, размахивая рукой с пистолетом. До человека — шагов полста. Прицеливаюсь, но слева хлестнула винтовка: командир подскочил, упал. Шерапенков, дёрнув затвор, выбросил дымящуюся гильзу.

Бежавшие за командиром — точно это был его последний приказ им — легли.

Не боясь их бестолковой стрельбы, ведём по ним огонь с колена. Доносится: «Товарищи,

вперёд!», «В атаку, товарищи!», «Ура!» — пуля обрывает призыв.

Красные вдруг начинают суматошно вскакивать с земли, кидаясь прочь, бегут сломя голову, многие побросали винтовки.

Продолжаем прицельный огонь.

Преследовать их значило бы далеко оторваться от полка, атакующего хутор Боровский, оставить своих без прикрытия. Поэтому ротный приказывает только собрать трофеи.

Вячка первым подоспел к убитому командиру в пальто, выдернул из его руки пистолет.

— Ого, браунинг прямого боя, десять зарядов!

— Его выстрел, — я кивнул на Шерапенкова, — трофеем его. — Зачем мне понадобилось говорить это?

Вячка небрежным тоном, но настойчиво просит Алексея:

— Продай, а? Мне скоро деньги пришлют.

Тот молча взял у Билетова браунинг, сунул в карман шинели.

Санёк, наклоняясь над одним из убитых, чтобы отстегнуть от его пояса гранату, сказал, будто размышляя вслух:

— Одно мне интересно: откуда наш мил-друг узнал, что это идут рабочие?

— Догадался, — обронил Шерапенков безучастно. Словно говоря о самой обыкновенной вещи, объяснил: — Когда я насчёт разведки сообщал красным, к ним в аккурат — пополнение:

фабричные одни. Говорят: два полка из самарских рабочих собрано. Беда, мол: ничему не обучены... Оно и видно, — добавил он. — А не умеешь, так и не наглей!

После такого вывода ни у кого из нас не нашлось что сказать.

К сумеркам неприятель был выбит из хутора Боровского. Наша рота заночевала в нём, выслав дозор к деревне Кирюшкино, откуда противник, получив подкрепление, мог угрожать нам заходом в тыл.

В дозоре: я, Шерапенков и ещё четверо. Командует Чунов. Мы залегли в лесной полосе между полями, видя вдали перед собой редкие огоньки Кирюшкино.

Ночь нехолодная; сижу на земле, подстелив под себя сухую траву. Возле меня оказывается Шерапенков.

— Бери, а? — протянул браунинг рукояткой вперёд.

Я чуть не привстал от изумления: в его голосе — просительность.

— Ну, возьми, не злобься...

— Зачем?

— Дарю вроде как...

Сегодня он здорово помог, у меня уже нет к нему ненависти. Но не может быть и дружелюбия. Для меня он — непостижимо тёмная, опасная фигура. Как бесстыдно-спокойно объяснил, почему ему стало известно, что на нас идут рабочие...

Отказываюсь от подарка. Он отошёл, сел под дерево, слившись с ним. Меня позвал Санёк, спросил шёпотом:

— Подкатывается?

Я рассказал. Санёк разбил о колено варёное яйцо, скovyривает с него скорлупу.

— Ну, скажи! Будто из Кутьковской слободы!

Недалеко от его родной деревни находится слобода Кутьковская. В давние времена это было село. Когда отменяли крепостное право, жители села потребовали лучшие помещичьи земли. Получив отказ, «встали в претензию» — свою землю не пашут. Отправили кругом посыльных с подводами, чтобы выдавали себя за погорельцев и собирали подаяние. Становились ямщиками, лесорубами, шли по деревням плотничать, класть печки, отправлялись бурлачить, а то и коней красть, разбойничать.

— С голодухи, зверюги, иной раз загинались, но поле пахать — не-е! Так и доселе: кто шорник, кто жестянщик, кто торговлишкой пробавляется. Зато гордости в каждом — во-о! — Санёк, привстав с земли, поднял руку, показывая, сколько гордости в каждом кутьковском жителе. — Скажешь ему: тебе ль гордиться, голяк? Чего не пашешь? А он важно, чисто купец: «Почему я должен на плохой земле сидеть, когда столько хорошей в дурацких руках плачет?»

— Уваженья требуют не по своему месту, — рассуждает Санёк

тоном человека, уверенного, что его мысли неоспоримы. — Коли нет путёвого хозяйства, ты в жизни бултыхаешься, как котях в луже. С какой стати я должен перед тобой шапку сымать? А они полагают — должен. И любовью вред могут засобачить исподтишка.

Он говорит шёпотом, к нашему разговору никто не прислушивается. Вячка «выдвинулся» в поле — будто б получше следить за деревней, а сам, наверное, дремлет. Другие: кто прохаживается, кто прилёт на траву.

— Трое кутьковских служили со мной в Персии, — шепчет Санёк. — Ну, чисто враги для остальных! Уж как их учили («учили» означало били), а всё без толку. Наверняка они за обиду — того... постреливали в спину во время боя. Но никто их на месте не поймал.

Помолчав, продолжил совсем тихо:

— Твой дрючок в шапке — чисто таковский! Не гляди, что выручил. Завтра может так же и под монастырь подвести. Эдак он свой нрав тешит: представляет себя как бы над всем миром.

Услышанное кажется мне чудным до неправдоподобия: деревенский парень «представляет себя над всем миром!»! Какие у него на то основания?

Санёк воспринял моё недоверие как должное: истины, доступные ему, от других скрыты. Посмеиваясь, сказал:

— Почему я дал согласие к нам его взять? Мне стало интересно, чего такое он против нас удумает? Сколь он тонкий на каверзу?

«Тонкий на каверзу...» Я думаю о том, какой странный, загадочный человек оказался рядом с нами. Маленький, неказистый, а из-за него погиб сильный, умный, красивый Павел. А давеча сколько здоровых краснюков отравилося на тот свет из-за него же! К чему он стремится? Откуда в нём способность так независимо, так гордо держаться? Простой крестьянин, «бобыль», как сказал о нём брат. Видимо, и избы-то своей нет.

— И ведь бесстрашный до чего! — шепчу я.

— Так ему дано, — объясняет Санёк презрительно, будто речь о каком-нибудь незавидном свойстве. — За шкурку возьми, об стенку кинь — готов. Не мужик, а насмешка. Зато самовольства — поболее, чем у графьёв. Ему что красные, что белые — он всех ненавидит. Почему? Потому что ни те, ни другие его генералом не ставят.

— Неужели у него такие требования?

— А то нет? — Подумав, Санёк прошептал: — Я гляжу, он к тебе подкатывается. Оно, может, и неплохо. Про кутьковских я слышал: вдруг им кто-то стал по душе — так они за него на раскалёно железо сядут.

Молчим.

— Щас сядут, — говорит Санёк, — а через час зарежут. Самовольство!

За три дня наша дивизия отбросила красных на двадцать вёрст. Противник понёс потери, но не был разгромлен, как рассчитывал генерал Цюматт. В то время как мы наступали на северо-запад, группа красных войск, верстах в пятидесяти к северу, двигалась на восток. У нашего командования не было сил защитить наш тыл. Мы получили приказ отступать.

Бузулук оставлен. Отходим к Оренбургу, не расставаясь с надеждой завтра же ударить вспять. Месим грязь просёлков, но чувство подъёма не покидает. Господи, как верится в победу!

Дважды перед нами показывались разбегды неприятеля... В нашем тылу уже действуют его отдельные отряды.

Ночью был морозец, и ноги не тонут в грязи. С рассвета мы протопали вёрст пятнадцать. Пасмурный холодный день, мелькают снежинки. Вытянувшийся в колонну батальон приближается к деревне. Мы знаем: на батальон получены деньги от командования, и для нас будет куплен бык. Мы останемся в деревне до утра, вдоволь наедемся убойны... Это здорово подгоняет.

Поднялись на безлесный взлобок: вон и деревня. Из неё вправо, на юг, выезжает обоз. При нём коровы, стадо овец.

— Жители смываются, скотину угоняют? — предположил Вячка.

Ротный посмотрел в бинокль. Люди в обозе вооружены винтовками, видны нарукавные повязки, а их, красного цвета, носят красные. Удаляются под углом к линии нашего движения. Если пуститься за ними напрямую, полем, их можно догнать. Нас бесит: они забрали скот, чтобы вынудить нас взять у крестьян последнее. Того жирного быка, что занимает наши мысли, уводят!

Вызвались желающие нагнать обоз; среди них я, Шерапенков. Нас десятка три с лишним. Старшим — Санёк. Идём вспаханым на зиму подмёрзшим полем, что раскинулось по изволоку. Деревня осталась слева. В отдалении перед нами лысый глинистый гребень, за который перевалил обоз. На гребне, поодаль от дороги, высится скирда соломы.

Когда до скирды осталось саженой двести, застучал пулемёт. Шедший левее и немного впереди меня пензенский парень Пегин будто споткнулся: без звука упал ничком. Двое ранены. Лежим, вжимаясь в начинающую оттаивать пашню.

— Ушлые! — в тоне Санька слышится уважение; он стреляет по верхушке скирды. — Будут нас держать, пока обоз не сбежит.

Несколько минут палим по скирде. Пулемёт молчит. Попали? Санёк считает, что нет:

— За верхом прячутся. А пойдём — ещё пару наших срежут.

— Пегин бедный, — срывается у Чернобровкина, — у него сегодня день рождения!

— Поели говядины! — разносятся по залёгшей цепи. Стонут раненые; их волоком потащили к деревне, куда уже вступает наш батальон.

Санёк, как всегда, обстоятелен:

— Чего уж, сами напросились. Ни с чем возвращаться не с руки. Будем окружать.

Понимаем: пока ползком обогнём скирду, обоз окажется так далеко, что его уже не догонишь. Может, удастся хотя бы захватить пулемёт. Пригодился бы он нам здорово: в батальоне нет пулемёта.

— Гляди вон туда, — Шерапенков вдруг показал мне пальцем на гребень, вправо от скирды. — Замечаешь водороину?

Всмотревшись, я увидел промывную весенними водами рывтина: она тянулась с бугра и пропала.

— Сообрази уклон местности, — сказал Шерапенков таким тоном, будто он заранее знает, что я ничего сообразить не смогу, — водороина должна заворачивать влево и проходить между нами и пулемётом. Если б ты сидел на лошади, ты б её видел.

Не понимаю, куда он клонит.

— До водороины добегу, — говорит он нарочито мягко, как говорят с глупенькими, — по ней,

по ней... и буду у пулемётчика за спиной.

— Да, может, она не доходит так далеко вниз, промоина твоя?

— А куда вода девается? — спрашивает насмешливо и вместе с тем терпеливо (так, чтобы терпеливость была заметна). — В дыру под землю уходит?

Я не сдаюсь: а может, рывтина не заворачивает влево, а проходит где-то справа от нас?

На его лице — презрение. Он даёт мне время его почувствовать. Отвернулся, ползёт к Саньку. Тот задумывается.

— А сколь до неё бежать, до канавы? Срезет он тя.

— Моё дело!

Санёк повернулся ко мне с выражением немного вопроса. У меня вырвалось:

— Я с ним...

Пулемётчик, заметив наше оживление, открыл огонь. Вскрик, ругательства. У нас ещё один раненый.

Бьём из винтовок по верху скирды. Пулемёт опять смолк.

— Я пошёл! — не удостоив нас взглядом, Шерапенков побежал вперёд. Несуразный в шинели, в сапогах, которые ему велики, в огромной папахе. «Одна шапка, — выражение Санька, — пол его роста!»

— Хочет к красным, — возбуждён Вячка. — Ой, уйдёт!

— Если только они его раньше не срежут, — замечает Санёк со злорадством.

Вскакиваю, бегу за Алексеем, изнемогая от сосущего, невыразимо

унылого ожидания: сейчас ударит в грудь... в лицо... в живот...

За спиной — густой треск выстрелов: наши стараются прикрыть нас. Однако пулемёт заговорил: распластываюсь на земле. А Шерапенков бежит, клонясь вперёд: маленький человек, словно для смеха обряженный солдатом.

Заставляю себя вскочить, не сусь вдогонку, наклоняясь как можно ниже, зубы клацают. Впереди, в самом деле, — рытвина. Пулемёт строчит: вижу, как на пашне перед Алексеем в нескольких точках что-то едва уловимо двинулось. Это в землю ударили пули.

Я бросился в сторону, упал. Въедливо-гнетуще, пронизав ужасом, свистнуло, кажется, над самой макушкой. Последняя перебежка — и я в канаве. Шерапенков встречает ленивым укором:

— Когда знающий учит, надо язык в ж... и слушать, а не вякать.

Пополз по водороине, которая, подтверждая его догадку, заворачивала на бугор. В ней тающий ледок, местами стоит вода. Я промок и вывозился в грязи так, как мне ещё не случалось; кажется, даже кости отсырели.

— Долго ещё?

Он, не отвечая, выглянул из рытвины, нехорошо рассмеялся. Осторожно высовываюсь. Скирда от нас слева и по угорью немного выше. До неё сажений тридцать. Пригибаясь, от неё

спешат уйти за гребень двое, задний несёт ручной пулемёт.

— Это они от нас с тобой бегут, — посмеивается Алексей. — Видали, что мы из-под их пуль в водороину проскочили: не желают спинку-то подставлять. Но припоздали маненько... — прицеливаясь, бросил мне: — В заднего!

Стреляем одновременно — упал. Другой побежал, не оглянувшись.

Мы погнались, часто стреляя с колена. Алексей третьим выстрелом уложил и его. Торопимся к пулемёту — «льюис» с магазином-тарелкой.

— Замечательная вещь! — тоном знатока произносит Алексей. С трудом подняв, осматривает «льюис», поглаживает сталь.

Подбежали наши. Санёк жадно глядит на пулемёт.

— Себе берёшь? — спрашивает на удивление уважительно.

Шерапенков опустил «льюис» наземь, повернулся к Саньку спиной, снисходительно-высокомерно, не передать словами, уронил:

— Ладно. Я себе ещё достану.

Подъехали всадники в красных бескозырках: это гусары, их дюжины три. То, что осталось после наступления от приданного нашему полку эскадрона.

Узнав об уходящем обозе, гусары вызвались его настигнуть, если со скирды будет «снят» пулемёт. Теперь они пустились за обозом ходкой рысью.

Редкое счастье: хозяйева, в чей двор мы вошли, топили баньку, собираясь париться. Я, вымокнув в канаве, до дрожи окоченев, попросился в баню. Алексей, который трясся от холода, как и я, пошёл париться только после приглашения, повторённого мной дважды.

А Санька баня интересовала во вторую очередь.

— Мать! — кинулся к хозяйке. — У нас деньги есть, всё оплатим! Даёшь лучший харч?

Крестьянка поставила на стол чугуны варёной картошки, горшок гороховой каши с подсолнечным маслом, положила каравай хлеба, связку вяленых лещей. Билетов и Чернобровкин, собравшиеся было с нами париться, не стерпели и набросились на еду.

Банька плохонькая, топится по-чёрному, но я блаженствую. Алексей же моется основательно и бесстрастно, точно делая важную, но не радующую работу. Я думал: раздевшись, он окажется совсем тщедушным. Но нет: у него мускулистые, отнюдь не тонкие ноги, и в теле чувствуется здоровье. В пару бани язвы на спине стали буро-пунцовыми, словно бы увеличились и углубились. Когда Алексей окатывается водой, вода розовеет от сукровицы.

— Саднят раны? — спросил я.

— Рубаха присыхает. Рвать надо, а неохота. Так и ходишь: по неделе и больше, — он не к месту рассмеялся. — Наконец-то дёрнешь: кэ-эк гной брызнет!

А там уже чистая кровушка пойдёт.

Я сказал, что ему, наверно, нужно постоянно делать перевязки.

— А кто будет? Нюрка мне стирать не хотела и не велела Лизке.

Нюрка, оказалось, — жена брата. Лизка — старшая дочка. По словам Алексея, он однажды даже избил золовку «за злобство». А «после брат сзади прыг и оглушил». Вспомнив нехилого брата, я подумал, что ему, конечно, вовсе не требовалось прыгать на Алексея сзади. Но я промолчал. Спросил, из-за чего у них рознь.

— Потому что я, — надменно сказал Шерапенков, — в моём праве! И если б не они, у меня могла бы жизнь быть.

Рассказал, что окончил церковноприходскую школу с похвальным листом и отец решил: он больше для городской жизни подходящ. Отвёз в Самару к известному мастеру Логинову: учиться делать дамские ридикиюли и другую галантерею. В учении Алексей показал дарование. Отец, умирая, оставил всю землю — восемнадцать десятин — старшему брату с условием «довести Алёшку до дела». Началась германская война; он уже работал помощником Логинова. Попросился на войну. Когда вернулся с фронта после ранений — захотел открыть собственную мастерскую, но требовалась известная сумма. Брат

в то время «имел двух лишних бычков». Денег от их продажи Алексею хватило бы.

— Я ему говорю: уважь моё право! Наказал отец меня до дела довести, так доводи!

Но брат, «а особенно Нюрка», напирали, что он «уже доведён до дела» — работал у Логинова, пусть и дале работает.

— Я говорю: это было полдела. Дело — когда оно моё!

Не дали денег брат с женой. Тогда он пришёл к ним в отцовскую избу: «Буду вовсе без дела жить. Я в моём праве!» Брат не выгнал, терпел; золовка «злбилась, выживала». Тут случился Октябрьский переворот, вскоре в село нагрянула красногвардейская дружина — «и двоих быков свели, и ещё и кабана!»

Вспоминая это, он трёт безволосую грудь мочалкой, удовлетворённо посмеивается.

Я спросил, что он думает о большевиках.

— Выжиги! Читал я их листки: всеобщее счастье, мол, дадим. Разве ж счастье может быть всеобщее? Ты погляди, сколь горемык кругом: тьма-тьмущая! Куда они денутся? А несчастные рожаться, што ль, перестанут? Одни дураки в это счастье и верят, но, скажи, как много их! То-то отец-покойник говорил: дураков в пашню не сеют, они сами плодятся.

— И как же ты, — сказал я, — это понимал и побежал к красным нашу разведку выдавать?

Он глядит на меня в упор. Глаза ледяные, немигающие.

— Я на рыбалку собирался: сижу под сараем, лажу верши, а твой брат по нашему двору туда-сюда, ляжками играет, распоряжается. Иди, мне говорит, напои мою кобылу! Я говорю: разве вы, господин поручик, меня слугой наняли?

«Господин поручик...» Брат был подпоручиком. По армейскому неписаному правилу, Шерапенков опустил приставку «под».

— А он... — в голосе Алексея — неизбывно-горчайшая обида, глаза подёрнулись влагой, — он как сунет мне кулаком в спину, в больное место. Здоров, сволочь! Я от боли упал. Ну, думаю, я ты обласкаю...

Помолчал, потупившись. Поднял на меня горящий взгляд.

— Если б можно было: мне трёхлинейку — и ему! С десяти саженьей — «цельсь!» — Голос стал дрожливо-яростным, в уголках рта — пена. — По счёту «три»... Я б его сшиб! И нисколько бы не жалел, и хер бы с ним!

Последние слова меня резнули по нутру, точно глотнул чего-то кипящего. Я поспешно окатился водой, стал одеваться.

У гусар один убитый, трое раненых, но скот возвращён в деревню. Командир батальона уплатил хозяину за огромного вола, и наутро следующего дня мы ели вожделенный суп со свежим мясом, густо

приправленный картофелем и крупой. Каждому досталось почти по два фунта говядины. Наевшись, мы присолили оставшиеся куски и спрятали в вещи мешки.

Утро пронизывающе-сырое, туманное, вот-вот посыплет мокрый снег. До чего не хочется покидать натопленные избы! Но трубят сбор. Командир батальона, пройдясь перед строем, вдруг называет фамилии: Шерапенкова и мою.

— За вчерашнее дело объявляю благодарность и всем ставлю в пример! — обеими руками пожимает руку Алексею, потом мне, обдаёт душком самогона.

— Р-рад стар-раться! — Шерапенков крикнул это напирало-грубо, точно был начальником и выругал подчинённого.

Командир уставился в замешательстве. Я вытягиваюсь, с пылом выкрикиваю положенные слова: вызываю довольную улыбку немолодого штабс-капитана. Запоздало осознаю, что меня подхлестнул страх за Алексея.

Когда вернулись в строй, Вячка (он с вечера терпел, но так и не пересилил любопытства) спросил Шерапенкова:

— Извиняюсь... не изволишь сказать, зачем ты вчера больше всех старался?

— Если я пошел воевать, — с расстановкой проговорил Алексей, не двинув головы в сторону Вячки, — то я воюю! — Это был тон повелителя. Билетов аж

икнул, встав на месте. Глядя на него, Санёк загоготал.

Батальон походной колонной выступил из деревни, держа на восток. В поле разошёлся обжигающий ветер. Запорхал снежок, скоро по лицу стала стегать колкая крупа. От командира полка прискакал верховой. Позже мы узнали: привёз сообщение, что неприятель пытается отсечь нашу дивизию, соединяясь с краснопартизанскими отрядами и образуя заслоны у нас на пути.

После трёхчасового марша по безлюдной равнине показалось село. На подступах к нему видны тут и там стога сена. Хотя крупа метёт довольно густая, было замечено, как с одного из стогов скатилась и исчезла фигурка.

Командир остановил движение, выслал на разведку в село кавалеристов, отступавших с батальоном. Ждём в поле, подняв воротники шинелей, зябко горбясь, поворачиваясь спинами к ветру. Санёк достал из вещмешка воловье ребро и с удовольствием обглаживает.

— Дотерпел бы до избы! — бросил Чернобровкин.

— А коли её не будет? — рассудительно говорит Санёк.

И тут от села понеслась трескотня выстрелов. Разведка во весь опор скачет назад. В мути снегопада блеснули огоньки на стогах и возле. Стоявший рядом со мной доброволец рухнул на колени, смотрит на вывернувшуюся ступню, хватая ртом воздух

— пуля перебила кость. Команда: рассыпаться! Не успели мы развернуться во фронт, как от стогов пошли цепями красные. Санёк прилёт наземь с «льююсом», пулемёт заработал — привычно понесло пороховой гарью.

Двигаясь на нас с востока, противник стремится зайти на севере за наш левый фланг. Санёк сосредоточил огонь «льююиса» на этой группе. Я и Шерапенков оказались на правом фланге. Верстах в полтора к югу от него темнеет перелесок на горке. Передали приказ занять горку, чтобы обеспечить батальону безопасность с этой стороны.

Нас человек около сорока, бегущих по отлогому подъёму к перелеску. Командует нами вчерашний учитель труда начального училища. Вдруг из-под шапки у меня хлынул пот, круто останавливаюсь: на высоте — конники.

Выезжают, выезжают из редкого леса. Вся вершина покрылась конницей. С нею мы ещё ни разу не имели дела. У меня винтовка заходила в трясущихся руках. Ужас стиснул грудь.

— Что делать, братцы? — болезненно-жалко вскрикнул кто-то из наших.

Учитель закричал:

— Бегом назад к своим, под прикрытие пулемёта!

— Не-е-ет!! — стегнул свирепый громкий, неожиданно низкий для его роста голос Шерапенкова. Необычно маленький, кажущийся неуклюжим, он

странно быстро набежал на учителя, подпрыгнул — ударил того прикладом по лопатке.

— Куда гонишь, срань?! Порубят, как курят! — Потряс винтовкой над головой, от чего его фигура показалась ещё короче: — Стоять! Ни с места! — в невероятно раскатистом, звучном голосе — подавляющая непреклонность.

Его... слушают!

Так, будто делал это много раз, он скомандовал встать тесно в ряд, изготовиться к стрельбе.

— Иначе не спастись! Они ж догонят легко!

Человек десять побежали, остальные выполнили команду. Тёмный сплошной орущий вал конницы хлынул на нас с горки. Ноги уловили дрожь земли и будто отнялись. Сейчас в безумии зажмурюсь, повалюсь ничком, прикрывая голову руками.

— Их бить — легче лёгкого! Огонь! — тоном неумолимой власти, с заразительным торжеством кричит Шерапенков.

Чувствую, как у меня под шапкой волосы шевелятся, но руки подчинились приказу. Бью, бью из винтовки в ужасающе близкую, стремительно вырастающую лавину конских, людских тел. Слева от меня Шерапенков, безостановочно стреляя, заключил непоколебимо-упрямо:

— Стой — и никакая конница ты не возьмёт!

Никогда ещё я не видел, как на всём скаку валяются, летят кувырком лошади, всадники.

В порыве неистового кошмара торопишься целиться и разить, разить, прижимаясь щекой к ложу полновесно отдающей в плечо послушной родной трёхлинейки. Щемяще-жалобное конское ржание, людские вопли. Кажется, даже слышен треск костей. А справа, слева резко и часто хлопают, гремят, оглушительно шарахают винтовки.

В шумной огромной мятущейся волне, что вот-вот поглотит нас, вдруг открылись просветы, они быстро ширятся. Конница рассыпается, обтекая нашу недлинную, непрерывно стреляющую стенку. Поворачиваемся, ловим на мушку цели. Те из наших, кто побежал, теперь тоже ведут огонь по разрозненным кавалеристам. Как они спешат ускакать за горку!

— Ур-ра пехтуре! — поощрительно провозгласил Шерапенков.

Еле сдерживаюсь, чтобы не обхватить, не поднять его, восторженно тормоша.

Бой с красной пехотой продолжался до темноты, в село мы не пробились. От командира полка поступил приказ двигаться на север. Там два наших батальона в упорном бою отбросили неприятельский заслон. Мы соединились с ними, вошли в начинающийся на востоке лес, тут и заночевали.

Палаток на всех не хватило. Устроив подстилки из нарубленных веток, добровольцы спят у

костров. Ночь промозглая, тает снег, с деревьев сыплются капли. Я и Шерапенков пристроились возле двух положенных рядом лесин. Огонь медленно ползёт по ним, обдавая спасительным жаром. Алексей разулся, протягивает к пламени ступни. Я лежу на боку, расстегнув шинель, гимнастёрку и подставляя жару грудь.

— Про счастье треплются, — рассуждает Шерапенков о красных. — Ненавижу, когда с этим словом балуют. Это меня прям по больному месту, как шилом в пупок.

Чувствуется, он хочет поговорить. Слушаю с интересом.

— Ты из каких будешь? Из капиталистских?

— Нет, — ответил я, — мы небогатые. Отец был инженером, мосты строил, раньше мы имели состояние. Потом вошли в долги. А после смерти отца и вовсе в долгах.

— Ага. Значит, красных победите, чего ты выиграешь? Взысканье долгов?

— Ну, если так глядеть — получается... — я улыбнулся.

— Получается! — повторил он. — Ты не смейся. Смеху тут нет. Это ты сейчас не задумываешься, а после поймёшь... — последние слова он произнёс едва слышно и словно бы забылся. Потом спросил: — У тебя любовь была?

Отвечаю, что вроде бы, а вообще — не по-настоящему.

— Не по-настоящему! — повторил он язвительно и с непонятной злостью, словно уличая меня в чём-то, выдохнул: — А если — по-настоящему? — затем, без перехода, прошептал: — Возьми пойми, кто моё счастье скомкал...

Он уставился в огонь, худое заострённое лицо выглядит измученным.

— Где я по галантерее учился, у Логинова... дочка — ну, что она из себя? А так легла к ней душа! И Логинов был не против за меня её отдать. Ты, мне говорит, по мастерству далеко пойдёшь, богатым станешь. А она, Варька-то, ерепенится: больно маленький! Сачком тя ловить? Вот с того я и пошёл на германский фронт. Разве ж я не могу себя выказать?

Он сел, пристально смотрит на меня, опасаясь усмешки. Убедился, что я слушаю с сочувствием.

— С войны я ей верные письма слал, от сердца. Вернулся: она уж ко мне по-другому. «А что, — говорит, — Алёша, и выйду!» Но теперь Логинов крутит. Оказывается, к Варьке сватается зеленщик — с малым, но с капиталцем. Я Логинову: «Что ж вы, Иван Михалыч, сами сулили...» А он: «Не кори, Лёша, не могу я свою выгоду упускать. Сноровистый ты человек, но всё ж таки нужна надбавка. Даю тебе полгода сроку: открой своё дело — завтра за тя Варьку отдам!»

Шерапенков прилёг головой ко мне:

— Зато я и рвался своё дело открыть, а брат и его баба не дали... знаешь уже. Вижу — раз так, не стану я полгода тянуть! — голос зазвучал сумрачно-гордо. — Отписал из села Логинову: не будет у меня своего дела. Ну, вскоре знакомец из Самары мне пишет: отдана Варька за зеленщика. Теперь ответь, — ожесточённо спросил Шерапенков, — кому я за мою радость должен? Брату с золовкой? Логинову?

Не знаю, что сказать, чувствую горячую жалость к Алексею.

— А средь вас мне лучше, — тихо говорит он. — Я тебе по чести: я на войну пошёл за Варьку, за любовь. Чтоб своё дело открыть — тоже пошёл бы. Ну, а вы-то, молодняк, я гляжу, ни за то, ни за другое воюете. А за что?

— За то, чтобы никто не обманывал народ, — отвечаю, вспомнив разговоры моих старших братьев с друзьями. — Чтобы народ сам по каждому уезду, волости, по каждой деревне себе власть выбирал!

— Ну а вам-то с того какая прибыль? Он по себе выберет, а тебе, скажем, от этого ничего хорошего?

Я в затруднении. Подумав, говорю:

— Если народ станет свободным, хорошо будет всем!

— Ты веришь? — не сводит с меня горящих глаз. — За это себя

кладёте?! — Молчит минуты две, шепчет: — Божьи вы люди...

Заслоны красных нам больше не встречаются, но неприятель настойчиво наступает на пятки. Сегодня спозаранку наш батальон удерживает позицию на опушке осинника, обеспечивая отход основных сил. После неудавшейся атаки красные залегли в поле, постреливают в нас с расстояния около версты.

Я пристроился за упавшей трухлявой осинкой. Рядом — Санёк с «льюисом». Шерапенков влез на дерево в десяти шагах поодаль: хочет подстрелить командира красных.

— Стараётся, — многозначительно говорит Санёк об Алексее, достаёт из-за пазухи сушёную воблу, колотит ею о ствол пулемёта, чтобы легче отстала чешуя. — Об чём он тебе калякает?

Зная, что Санёк ехидно посмеётся, скажи я ему о любви Алексея, молчу об этом. Уклончиво отвечаю: говорит, мол, ему хорошо среди нас.

— Хорошо? Ему?!

— Ну да! Раз мы воюем за свободу народа, свою жизнь кладём... И вообще, мы — Божьи люди.

— Чего-о-о? — у Санька тревожно-изумлённое, растерянное лицо. Спустя минуту протянул не то с восхищением, не то с ядовитой злобой: — Дрючо-о-ок!

Над нами одна за другой свистнули пули — я спрятался за гнилую колоду. Санёк не

шелохнулся, держа голову над ней, как и держал. Обгладывая рыбью спинку, задумчиво производит:

— А я надеялся — он человек. Г-гадственный сучонок! — Решительно доказывает: — Легко балакать, что мы — за народ! А разве не видно: мы для него — одна тягота? Харч забираем, а то и лошадей. Начальство, бывает, плотит, но чего теперь деньги стоят? Это раз! А как я ему в ухо дал? Как мы его к стенке ставили? Тоже Божье дело али семечки? Но даже, кроме всего этого, ты погляди сам на нас, — назидательно толкует мне Санёк, — мы-то — Божьи люди? — Заходится едким мелким смехом. — За круглого дурака считает ты.

Не могу не смеяться вместе с ним. Быть дураком не хочется. Я смеюсь, но мне больно, как от меткого, жестокого удара. Мне больно от пронзительного чувства собственной беспомощности. Если Алексей обманывает?.. Обманывает — а я ему верю.

Верил до сего момента... Доводы Чуносова беспощадно убедительны.

Вспоминаю: мы проходили деревней, Вячка забежал в избу, в этот момент в ней никого не оказалось, в печи стоял горшок с топлёными сливками. Вячка вынес его, и мы стали ложками поедать сливки, хотя прибежала хозяйка и кричала на нас. А как-то я пообещал крестьянке заплатить за шерстяные носки и не заплатил: денег не было. Тёплые

носки сейчас на мне. И ведь Шерапенков всё это знает. Знает, но пылко, с горящими глазами шепчет: «Божьи вы люди...»

— Зачем он врёт? — Санёк поглядывает на осину, на которой примостился Шерапенков. — Красного командира высматривает... Окрестность он высматривает! Чую я, скоро засобачит нам...

Не верить этому?.. А что если Алексей, давеча представлявшийся мне таким искренним, на самом деле изошрённо «тонок»? «Тонок на каверзу» — как выразился Чунос. Несколько раз выручив нас, попросту нами играет: ублажает своё самолюбие. И ждёт случая...

Отходим негустым чернолесьем, ноги скользят по влажной липкой почве, устланной опавшей листвой. Красные не отстают, стреляют. Нервируя, давяще посвистывают пули, с щёлканьем отбивают от деревьев куски коры, сшибают сучья.

Открылась река в пологих берегах, за ней — шелестящая сухим бурым камышом и осокой низина, а сажений через полтора — крутой каменистый кряж. Дивизия уже форсировала реку и ушла, уничтожив средства переправы, оставив нам одну лодку.

Больше часа отгоняем красных ружейным, пулемётным огнём, пока батальон, ходка за ходкой, перебирается на другой берег. Наконец Санёк, я,

Шерапенков, Вячка и ещё человек семь последними набиваемся в лодку. Гребцы во всю мочь налегают на вёсла: скорей, скорей переплыть реку! Выпрыгиваем на отмель, ноги вязнут в иле. Вот-вот на покинутом берегу появятся красные: примутся расстреливать нас, тяжело бегущих по топкой низине.

— Лёнька, гляди-и! — Санёк рванул меня за плечо.

Оборачиваюсь. Шерапенков остался у лодки. Упираясь в её нос руками, разъезжаясь сапогами по илу, пытается столкнуть её назад в реку. Санёк поднимает «льюис».

— Не-ет! — жму книзу ствол пулемёта.

— Давай сам! — обдал меня брызгами слюны. — Щас в лодку запрыгнет, на дно ляжет: не достанем...

Шерапенков — предатель. Улучил момент — перебегает к красным. Надо успеть убить его, но я колеблюсь. Сейчас его застрелит Санёк. Почему-то не могу этого допустить, я должен — я! Вскидываю винтовку, стреляю.

Он упал боком, поднялся на колени, столкнул лодку в реку. На четвереньках развернулся к нам, выползая из воды.

В смутном непонятном порыве я побежал к нему. Папаха с него свалилась, он медленно ложится животом в грязь.

— Они ж... могли б пловца... за лодкой... — выдавливая прерывисто, — и переплыли б удобно. А так — хрен!

Лодку уносит течением. Вымазанной илом рукой он пытается расстегнуть ворот шинели.

— Вы... стрелять скорей...

Приподнимаю его за плечи. Подбежали наши: слушают мой крик — объясняю, в чём дело. Санёк, я, Вячка, Чернобровкин несём Алексея. На его покрытом грязью лице блестят глаза; улыбается:

— Убили меня... чудаки...

Санёк остервенело матерится:

— А ты крикнуть не мог, а?!

Гордый — кричать?! Гордый?!

Мы втащили Алексея на кряж, несём по косогору к поджидающему батальону. Ощущаю, как Алексей потягивается, словно вяло пробует вырваться из наших рук. Кричу:

— Санитары!!!

— Умер он, слышь, — говорит Вячка.

Известие, что я убил Шерапенкова, мгновенно всколыхнуло батальон. Нашу историю в подробностях знают все. Встречаю осуждающие, возмущённые, враждебные взгляды. В них чудится мысль: «Ишь, не вынесла душонка, что он таким молодцом показал себя!» Меня

колотит нервная дрожь, пытаюсь разъяснить, доказать, что я не нарочно.

— Извольте помолчать! — кричит мне в лицо учитель труда начального училища, снимает шапку над телом Алексея.

Подошёл Сохатский, резко назвал мою фамилию. Встаю перед ним навытяжку. У него негодующее лицо.

— Кто вам дал право стрелять в своих?!

Меня качнуло.

— Ни при чём он, господин прапорщик! — вступился Санёк. — Я виноват.

— И я, — рядом со мной встал Вячка, — я тоже. Мы... мы... эх! — потупился.

Сохатский всматривается в нас поочерёдно.

— Очень странно... — он склоняется над телом Шерапенкова: — Лучший солдат у меня был.

Мы несли Алексея до ближайшей деревни. Там и похоронили. Собрали в батальоне денег, сколько у кого нашлось, отдали священнику, чтобы отслужил не один раз.

Название деревни — Мышки. От Оренбурга в ста пяти верстах.